

Григорий РОЗЕНБЕРГ**Мы художники...**

Художник-фотограф Щукин был кумиром моей 17-летней юности.

Пожилый, седой, неженатый человек. Ему уже было сорок лет, а он умудрялся оставаться холостяком, что, как мне тогда казалось, было признаком выдающегося ума. Да и сейчас кажется.

Познакомился я с ним по работе, но прилип к нему, как прибудившийся щенок. Он всегда обращался ко мне на "вы" и всегда говорил со мной так, как будто мое мнение что-либо значило. Мой начальник иногда посылал меня к нему в мастерскую, в подвал на соседней улице, совсем недалеко от нашего универсама, забрать очередной заказ, а я счастливый прибежал и сидел у него часами. Он продолжал работать, ходил по мастерской, чем-то шурился, с чем-то возился и все время говорил со мной, как говорят с большой умной собакой. Я, может, и не помню, что именно он делал, потому что слушал его высокий очень тихий голос, его почти всегда поражавшие меня монологами.

— Вот ответьте мне, Саша, на вопрос. Подумайте. Вот работает в нашем Оперном театре главный художник. У него звание народного, он заслуженный деятель искусств... Он очень опытный мастер и признанный талант. И это все — правда. И вот, работаете вы, Саша. Также очень одаренный человек, но еще очень молодой, еще мало что умеющий, неопытный, обученный плохими педагогами... Но вы работаете в Центральном универмаге. Теперь вопрос: где уместнее работать народному художнику, заслуженному деятелю искусств — в Оперном театре или в Центральном универмаге?

— Ну какой же это вопрос? — наивно попадался я. — Театр, это же храм искусств! Это же вам не витрины оформлять!

— Сколько человек в день бывает в Оперном? — высоким голосом спрашивал он. — Пятьсот? Ну, от силы — пятьсот. А в универмаге? Ну посчитайте,

те, посчитайте. Сколько человек в день воспитываете своим искусством вы, а сколько он? Сколько человек будет со временем считать нормой его вкус, а сколько — ваш!

Но и моим искусством он интересовался. Во всяком случае, всегда хвалил.

— Саша, видел в витрине силуэт женщины, надевающей чулок. Ваша работа?

— Моя, — с напряженным ожиданием отвечал я.

— Очень талантливо. Эта непропорционально маленькая голова придает всей пластике такую острую экспрессию!

Я ничего не понимал про экспрессию, понимал только, что талантливо, и бросался жаловаться:

— А они говорят, такой головы не бывает! Чтобы я не выдючивался, а срисовал по клеточкам из журнала!

— Что вы хотите, — устало говорил он. — Они хорошие добрые люди, но они же ремесленники, они же не учились... Они же и о фотографиях могут сказать только "недоделано-переделано", "резко-нерезко"... Мы с вами художники, мы должны быть к нимнисходительны...

"Мы художники", — и я готов был слушать его бесконечно.

— Вызывает меня как-то командир части, — рассказывает он мне. — И говорит: "Майор Щукин! Мне доложили, что вы слушаете симфоническую музыку". — "Да, товарищ полковник, это правда". — "Джаз надо слушать, а не вьё...ся, майор!".

— Мы художники... — говорил он мне, и я готов был не выходить из его подвала годами! Это место под землей, под ногами прохожих и жильцов верхних этажей, было единственным местом, где со мной говорили о высоком.

— Вы уже посмотрели фильм "33"? Ну что вы, Саша! Интеллигентные люди должны это посмотреть. Я думал, на выходе из зала всем будут наручники надевать, кто это видел. Представляет,

на фоне западного джаза и покосившихся изб по разбитой дороге едет кортеж с космонавтом, а дорогу ему преграждает веревка с мокрым бельем. Космонавт подходит к жене, которая это белье развешивает, а она его мокрыми кальсонами по щекам! А он говорит сопроваждающим: "Семья согласна". Представляет! А первый секретарь обкома диссертацию пишет насчет тридцать третьего зуба, представляете?

В другой раз:
— Саша, вы уже это читали? — и бросает на стол газету. Не кладет, как всегда, а бросает. И я уже понимаю его отношение к написанному. Разворачиваю газету, вижу жирный заголовок: "ПЕРЕВЕРТЫШИ".

— Я прочту, Виталий Александрович, а чем вы рассержены?

— Ну, Саша, интеллигентный человек должен это прочесть. "Перевертыши"! Даже оскорбить грамотно не умеют. Это они хотели слово "оборотни" написать, да ведь надо книжки читать, чтобы знать... Читайте-читайте, Саша. Вы же пишущий человек, вы обязаны знать.

Для него я пишущий человек! Я пропал у него в мастерской: слушал, смотрел, спрашивал. Читал свои стихи, а он неизменно хвалил. Только однажды он чуть приоткрыл мне причины своего постоянного мной восхищения, и то — случайно. Говоря о другом, он обронил: "Артист без аплодисментов хиреет".

Какие элегантные дамы спускались в его подвал, цокая длинными острыми каблуками по камням ступеней, грациозно изгибая свои обтянутые узкими платьями фигуры: лестница крутая, с выбоинами... Щукин не оживлялся, не суетился, а так же строго смотрел перед собой, был очень вежлив и, извинившись, продолжал работать. А они, как и я, сидели по очереди на высоком табурете и поглощали его неизменное, высказываемое между делом восхищение. Иногда он их фотографировал. Иногда прерывал ра-

боту, садился рядом и курил. Длинную сигарету с фильтром он зажимал не кончиками пальцев, как все, а вкладывал ее у самого основания пальцев и подносил свою музыкальную кисть к лицу раскрытой, как хищный растопыренный веер... Женщины не отрывали от этой руки взглядов.

Однажды он остановился посреди мастерской, внимательно посмотрел на меня и сказал:

— Знаете, Саша, у вас воспитательное лицо!

Я чуть не слетел с высокого табурета.

— Как у Врубелевского Демона.

(Кстати, стихи у меня были, конечно же, как у Пастернака, а рисунки, как у самого Врубеля.)

— Я должен вас сфотографировать!

— Когда? — зачем-то спросил я.

— А сейчас! — вдохновение било из Щукина, как прожектор.

Он взял какой-то тюбик и помазок для бритья, усадил меня под софиты и стал собственноручно намазывать мне щеки. Потом отступил, прищурился — и положил еще два мазка. После этого он со всех сторон общел меня своей камерой, и я ушел, потрясенный осознанием своей демонической красоты.

Через неделю совсем рядом с моим домом в витрине парикмахерской появилась огромная фотореклама: мой портрет, на котором из моря мыльной пены одиноко торчал мой правый глаз. Остальная часть лица, в соответствии с композиционным замыслом, была обрезана. То, что это именно я, знали только два человека. Мама, например, не поверила...

Как-то осенью случилось так, что я сам заказал ему фотопанно для своей авторской витрины: мне наконец доверили сделать что-то без нянек. Витрина была обвужная, и задумка моя была такова: на фоне вертикально висящей одесской мостовой, снятой буквально сверху, так, чтобы не было перспективных искажений, откровенно нарисованные ноги в обуви. Много ног, но идущих не по фотографии, а по воздуху, на фоне стоящей стеной бульварной мостовой. Примерно в таких словах я долго объяснял суть Щукину, пока не наткнулся взглядом на егонисходительную улыбку.

Когда я увидел готовую работу, то растерялся. Щукин снял мостовую на

Пушкинской, но совсем не так, как я задумывал. О моей витринной идее он забыл. Это была пустая улица с пустой мостовой и голыми деревьями. Перспектива исчезала в далеком тумане... Я хотел было напомнить ему, какую задумку он развалил своей фотографией, но, глядя на этот туман в конце сырой мостовой, почувствовал такую грусть, такую тоску, какая бывает при очень горькой разлуке.

— Понимаете, Саша, — очень серьезно объяснил он мне, — я хотел снимать рано утром, когда "ни машин, ни шагов", а вот пришел, увидел это и решил: пусть в витрине повисит такая улица...

И я не стал заслонять ее рисунками ног, она так и висела всю зиму в центре моей обвужной композиции. Я ведь помнил, сколько человек в день я воспитываю...

Мы расстались с ним, когда я уехал учиться в другой город, но на каникулах я старался навещать его. Щукин уже работал в другом месте, в университете, в новой мастерской. Когда я появлялся, он, маститый и известный Виталий Александрович, не обращая внимания на постоянную толкотню у него разных людей, театрально обнимал меня, расцеловывал и говорил что-нибудь праздничное. Потом интересовался моими успехами, а на прощание всегда почти насильно вручал какой-нибудь сувенир: фломастер, карандаш, дикий авторучку... Я уходил с ощущением, что не проведать его забегал, а взять с него регулярную порцию симпатии.

Потом было распределение, работа в разных концах России — и я надолго потерял его из виду.

Разыскал я его через двадцать четыре года. Опять была новая, на моей памяти третья уже, мастерская. Он сидел на высоком табурете в синем халате, сутулившись. Какие-то девочки устанавливали аппаратуру, готовили освещение. На стенах его мастерской висели портреты Высоцкого, Дворжецкого, Галича... На столе под стеклом я увидел снимки, на которых эти знаменитые люди были сфотографированы вместе с ним — с Виталием Александровичем Щукиным...

Меня он не вспомнил.

Израиль.

Наталья СИМИСИНОВА**Апофеоз лета**

Со стороны посмотреть — отвратительное зрелище — женщина, с руками по локоть в крови. Кровь стекает, капает, застывает, размазывается, брызжет во все стороны. Весь стол в алых брызгах. На лице маниакально-безмятежное выражение. Сладкая тягучая кровь. Алая с вишневым оттенком. Я чищу ягоды для варенья. Занятие неторопливое и не утомительное несколько. Нельзя спеша готовить ягоды. Их четыре килограмма. Четыре килограмма отборных черных круглых блестящих. Вначале я их мыла пригоршнями под краном. Капли стекали с их тугих бочков. Теперь из каждой нужно вынуть косточку и оторвать хвостик. Я беру очередную вишенку, вонзаюсь в нее шпилькой, вытягиваю всю в кровоподтеках косточку, в который раз удивляясь ее бесхитростному, прямо-таки наивному совершенству.

Мякоть ягоды, ее плоть заключена в строго очерченное пространство. Кем очерченное? Почему? Пространство имеет форму шара, слегка приплюснутую сверху — там, где таинственная впадинка, в которую впадает плодоножка, — и окружено нежнейшей кожей. Пространство автономно и абсолютно герметично. Вишенка закрыта — задраена, как маленький космический корабль. Отчаянно храбрый, один-единственный в невообразимом космосе он висит-болтается на ветке.

Поедая вишенку, я одновременно с ни с чем не сравнимым кисло-сладким щиплющим языком и рождающим массу ассоциаций вкусом получаю информацию о мире, который был до меня. Все едино и взаимосвязано. Мое тело, тельце надкушенного плода — содержит сведения о динозавре. Все в мире кружится, перетекает из одного в другое. И нет конца этому перетечению...

Невидимые атомы выстраиваются в сложные молекулы, и появляется вкус, цвет, запах, форма. Черноколка. Черноколка. Такая точно росла у бабушки во дворе под окнами. Под ней мы сжили за столом. Неторопливо текло летнее отпусковое время. Завтракали — и старая клеенка была расписана дрожжами солнечными пятнами — обедали, ужинали. Ужин переходил в чаепитие под звездами. Лучше этих минут я до сих пор

ничего не знаю. Спокойствие и умиротворенность. Бабушки вспоминали свою жизнь, влюбленности, родителей — деду Якова, сапожника, который был гениален в своем мастерстве и пьянстве, потому всегда был без сапог; бабу Улю — лучше всех на улице готовившую борщи и вареники; баба Дора в сотый раз рассказывает историю про нынешнего маршала, который когда-то был влюблен в нее. Но не нравился — рыжий был, конопатый, гундосый. Потому вышла она за бесшабашного Тишку — любившего и ревновавшего ее без памяти. Мы в который раз смеемся над непрактичностью бабули. Ведь если бы она тогда отдала предпочтение будущему маршалу — как сказочно жили бы мы сейчас. Мы в деталях смакуем возможную распрекрасную жизнь, в которой хватало бы достатка и детям, и внукам.

— А что, Дорка, — говорит баба Галя, — была бы сейчас у Наташки и шубка, и квартира, и денег сколько хочешь. И женихи богатые. Деньги — они к деньгам идут...

Мы все вздыхаем и надолго замолкаем... Одурающе пахнет ночной красавицей. Тишина, и только звезды дрожат над нами. Заканчиваются ночные посиделки как всегда негромким сливанием. "Іхали козаки від Дону додому, підманули Галю, забрали з собою..." У бабы Доры не сильный, но очень нежный голос. Она ведет за собой: "Ой ти, Галю, Галю молодая, підманули Галю, забрали з собою-о-ой!".

Под черноколкой, в маленьком белом домике с зелеными ставнями прошли лучшие годы моего детства. А возможно, и лучшие мгновения моей жизни.

...Самое интересное, что на ленте времени эти дни продолжают существовать где-то там, в трудно вообразимом далеке. Если когда-нибудь, мой внук придумает-таки машину времени, то можно будет прокатиться со мной или без меня в те благословенные денечки. В которых душа была уравновешена с миром.

Где не было даже намека на мои сегодняшние драмы, бессонницы, одиночества, ужасы перед надвигающейся старостью и всех тех больших и маленьких страхов, точащих мою жизнь, как жуки-короеды.

А там, в тех денечках: солнце и ленивые белые облака, и зной, и истома летнего полдня, и запахи вишневого варенья, кипящего в огромном медном тазу посреди летней кухни. На столе — глубокая тарелка, доверху наполненная пенками. И все пальцы и губы у меня липкие от этой пенки...

...Сегодня я заняла нишу своих бабушек и готовлюсь варить варенье.

Вся хитрость варки заключается в том, что необходимо установить некую гармонию с миром, равновесное состояние души, без напряжения воспринимающей окружающей мир. Для того чтобы сварить полноценное варенье, надо быть счастливым, ну хотя бы временно счастливым человеком. Любое варенье не терпит суеты, спешки, агрессии. Готовясь к варке, надо отрешиться от страхов, найти точку опоры и полюбить себя в мире.

Варенье требует неторопливости, иначе продукт получится некачественным, уверяю вас. Жидким, что для варенья абсолютный нонсенс, либо чересчур густым. Но варенье — не компот и не повидло. Ягоды не имеют права развариться. И цвет должен быть четким. Это возможно, если хозяйка в момент кипения не отлучается от таза ни на минуту. Она нежно помешивает большой деревянной ложкой волшебное варево и ни на что не отвлекается.

Варенье — это апофеоз лета. От которого ты отщипываешь кусочки, добавляешь сахара, ставишь на огонь, снимаешь, охлаждаешь, снова ставишь. Потом закупориваешь в банки, ставишь их на полки в темную кладовку. Разноцветные стеклянные банки — ярко-желтые, малиновые, розоватые, темно-фиолетовые, оранжевые. В них — абрикосы, клубники, вишни, смородины...

Притом, когда ты аккуратно вытаскиваешь из абрикосов косточки, а потом заставляешь всю семью расколочивать их, чтоб сварить варенье с бубочками, или помешиваешь клубнику, то думать надо только о хороших вещах. Никаких мыслей о конфликтах на работе или о конечности всего сущего, никаких воспоминаний о том, что всего неделю назад тебе хотелось броситься под первую попавшуюся машину, присутствовать не должно. Их надо изгнать за несколько дней до варки, еще покупая ягоды и волоча их на пятый этаж. Из головы по ложке в таз должно стекать только умиротворение и размышления о том, откуда абрикосы круглые и похожи на маленькие планеты, как вишни и айва, и яблоки, а крыжовник овальный, вытянутый, клубника же вообще

странной сердцевидной формы. Как случилось это разнообразие? Кто придумал его? Зачем?

И сколько может один человек, которому 11 лет, съесть за раз малины? Со сливками и с сахаром. А если приведет с собой двух-трех тарелочек? Тазика, пересыпанного и готового к варке, как не бывало. И это замечательно. Потому что вновь предстоит поход на рынок и отрядная перспектива хождения вдоль пахучих рядов и выбор. А симпатичные грудастые титоньки за прилавками — и у всех руки по локоть в ягодных соках. Разве можно сравнить их с перекупщицами, что продают мясо в крытом корпусе? Вон, убитая и расчлененная скотина развешана, куски печеный и желудков, сытые собаки лениво смотрят по сторонам. В корпусе тебя непременно обвешают и костей насуют. Да и глаза у тамошних теток другие — маленькие, тусклые, косые от постоянного общитыванья.

Здесь же, на улице, — умопомрачительные ароматы, восходящие к небу, садами пахнет. И ощущаешь, как стремительно пролетает лето. Ведь каждая продавщица — живописное напоминание о том, как быстротечно время. И если сейчас не купишь клубнику, то через неделю — фиють — ее уже нету. И нечего будет поставить в холодный зимний вечер на стол ч чаю. А если, не дай Бог, еще и свет отключат, то вовсе тоска.

Ты же этой тьме и мраку, холоду и ветру, царапающему окна, и беспросветью душевному, и хандре — свечечки на стол в подсвечниках, рюмочки маленькие и пузатенькую бутылочку с наливкой (не с ликером из супермаркета), а живую ягодную наливочку, от которой в животе тотчас пожар разгорается, чашки белые с позолотой, густо-янтарный пахучий горячий чай. И банку тащишь из кладовки. Любую, наугад. Сама еще не знаешь, что в той банке, потому что неподписанные они. Бабушки подписывали на бумажках химическим карандашом, тебе же все недосуг. Все уже за столом сидят, тени по лицам скачут, вполголоса говорят и ждут. А ты — как фокусник — оп-ля — открываешь банку — и в вазочку ложкой выгребашь. И все — ах-а-ах — нохают, носами водят, и восторг, и умиление. Ложки тянут с розетками. Абрикосовое с бубочками! Ура! Или малиновое с хрупкими нежными косточками, или то самое — вишнево-тягучее — фиолетово-бордовое, из черноколки.

Как у бабушки с фотографии. Потом мы долго сидим и пьем чай с вареньем, жмурясь от удовольствия. А фотографии висят на стене, смотрят на нас из совсем другого пространства и времени...